

С.Венгеров

Стать настоящим русским – значит стать братом всех людей

(Из речи «Пушкин и Достоевский», сказанной на вечере, посвященном Достоевскому, 25 апреля 1914 г. в зале город. Думы)¹

Пушкин был для Достоевского не только великим поэтом, каким он является для нас, отделенных почти столетием от первых его выступлений, и наряду с Пушкиным знающих еще целый ряд других великих имен, заставляющих столь же восторженно биться наше сердце. Для людей 1820-х и 30-х годов Пушкин был первым великим именем, был в полном смысле слова явлением «чрезвычайным», как его назвал Гоголь еще при жизни поэта. В Пушкине Россия впервые осознала свою духовную мощь, в лице Пушкина русская литература впервые из забавы, из чего-то привходящего, стала фактом великого и самодовлеющего национального значения.

Совсем особое поэтому было отношение к Пушкину его современников и ближайшего молодого поколения.

Тютчев, сказав в скорбном плаче над гробом Пушкина:

Тебя, как первую любовь

России сердце не забудет.

дал не только чудное и трогательное сравнение, но и точную историко-литературную справку.

По разным поводам высказывался Достоевский о Пушкине и всякий раз чувствовалось то проникновение, то знание поэта, которое дается постоянным душевным общением с писателем.

И Достоевский во многом содействовал более глубокому пониманию пушкинского творчества и выявлению в нем черт, не освещенных критикою профессиональною.

Не ему ли мы обязаны тем, что уяснился нам образ «рыцаря бедного»?

Критика до Достоевского мало обращала внимания на это удивительное стихотворение, занимающее одно из первых мест в ряду тех произведений, которыми Пушкин входит в

¹ Русь. 1915. 27 апреля. С. 2.

литературу мировую. После «Идиота» нам стал мил и дорог этот образ, в котором в лучшие моменты нашей душевной жизни мы находим так много близкого и родственного. Ибо все мы до известной степени «рыцари бедные» в те минуты, когда смолкает «мышья жизни беготня» и когда от забот повседневности переходим мы к тому, что нам дорого само по себе. У всех нас, в той или другой форме было в свое время «виденье»

Непостижное уму,

под влиянием которого безотчетно, но властно один превыше всего полюбил науку, другой – красоту искусства, третий – благо народа и т.д. И еще дорог нам «рыцарь бедный» тем, что

Как безумец, умер он.

Ибо это один из тех безумцев, которые человечеству навевают сон золотой. И повторяю, только благодаря Достоевскому образ «рыцаря бедного» стал нам так близок и дорог.

Но, конечно, главным образом, проникновение Достоевского в сущность творчества Пушкина нашел свое выражение в знаменитой речи, сказанной им 8 июня 1880 г. в заседании «Общества любителей российской словесности» во время торжеств по случаю открытия памятника Пушкину в Москве.

Едва ли во всей истории русских общественных собраний какая-либо другая речь производила столь сильное впечатление. Действие ее было прямо потрясающее. Люди самых противоположных литературных и общественных партий, Тургенев и Иван Аксаков, в одинаково мере были взволнованы. И было им от чего волноваться. Ведь рядом с восклицаниями вроде: «О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение», Достоевский с такою страстью говорил и о стремлении стать «всечеловеком», и всем действительно, на один момент показалось, что все существенные разногласия между партиями тают в каком-то общем чувстве. Нервный подъем сообщился аудитории и был так велик, что один молодой человек от охватившего его волнения даже упал в обморок.

Два было источника этого впечатления от речи, которая тут же была провозглашена «гениальной».

Первая причина, несомненно, - во внешних качествах Достоевского как чтеца, совершенно исключительной захватывающей силы. Я сам не был в Москве, когда знаменитая речь была произнесена, и помню только нервные отчеты газет и очевидцев. Но я вполне могу представить себе то впечатление, которое она должна была произвести именно из уст Достоевского, потому что и на мою долю выпало великое счастье слышать его чтение на одном из вечеров, устроенных в 1879 г. Литературным фондом.

На сегодняшнем вечере, специально посвященном Достоевскому, будет уместно отметить, что он не имеет никого себе равного как чтеца. «Чтецом» Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который выходит в черном сюртуке на эстраду

и читает свое произведение. На том же вечере, когда я слышал Достоевского, читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Григорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято-торжественно, все читали хорошо. А Достоевский в полном смысле слова пророчествовал. Тонким, но пронзительно-отчетливым голосом и невыразимо-захватывающе читал он одну из удивительнейших глав «Братьев Карамазовых», «исповедь горячего сердца», рассказ Мити Карамазова о том, как пришла к нему Катерина Ивановна за деньгами, чтобы выручить отца. И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека.

Когда читали другие, слушатели не теряли своего «я» и так или иначе, но по своему относились к слышанному. Даже совместное с Савиной превосходное чтение Тургенева не заставляло забыть и не уносило в высь. А когда читал Достоевский, слушатель, как и читатель кошмарно-гениальных романов, совершенно терял свое «я» и весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходящих куда-то вдаль глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который некогда горел в глазах протопопа Аввакума.

И мне поэтому не надо было быть самому при произнесении московской речи, чтобы вполне определенно представить себе то пронизывающее впечатление, которое, при манере Достоевского в сильных местах повышать голос до настоящего крика, должны были произвести призывы-приказания вроде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве».

Но, конечно, не одною только физиологически-волнующею пророческою манерою произнесения московская речь потрясла слушателей. Как бы ни отнестись к ее содержанию, она прежде всего поражает обилием этого содержания, количеством мыслей, которые здесь рассеяны на кратком пространстве, ярким отпечатком всей совокупности духовного существа великого писателя.

В этой способности сообщать печать своей личности буквально всему, что вышло из-под пера его, Достоевский составляет, может быть, единственное явление во всей всемирной литературе.

Всякого другого писателя можно распознать по главе, по какому-нибудь десятку страниц. Достоевского можно узнать по нескольким строкам, чуть ли не по нескольким словам.

Если вы из самого лазурного итальянского озера зачерпнете воды в ковше, она потеряет свою лазурь и будет похожа на серую воду северного озера. Точно так же и самый замечательный писатель, взятый в небольшой цитате, почти всегда теряет свою яркость и даже индивидуальность. Но Достоевский и в конце лазурен, он в каждой тираде Достоевский, со всем своим категорическим нагромождением колоритных словечек, острых ощущений, одновременного полета и в небо, и в преисподнюю, одновременного ощущения и величайшего

восторга, и величайшего озлобления. Его речь всегда огненна, всегда напоминает собою поток лавы.

В этом жгучем потоке не все есть работа глубокого подземного огня. Уже вылившись из огнедышащего жерла, лава всегда захватывает и лежащие на его пути всякого рода шлаки и простые булыжники. И эту примесь всегда можно найти во всех, даже самых великих произведениях Достоевского.

Нет в них недостатка и в московской речи, в особенности в тех комментариях, которыми он снабдил ее, когда напечатал в своем «Дневнике писателя». Нет недостатка в жестоко портящем общее впечатление полемизме.

Но не будем неблагодарны, будем ценить речь только со стороны того хорошего и верного, что она дает. Со стороны великолепной характеристики Татьяны, превосходных пояснений к «Цыганам», «Пиру во время чумы», «Каменному гостю» и других, мимоходом брошенных, но от того не менее глубоких замечаний. А, главное, за две центральные мысли всей речи: выяснение трагедии «скитальчества» русской интеллигенции и указание на «всемирность и всечеловечность» гения Пушкина.

В деталях и в тех упреках, которые Достоевский шлет «гордому» русскому интеллигенту, то, что он говорит, не выдерживает никакой критики. Это русский-то скиталец должен сломить свою гордость и воспринять правду народную? Русский скиталец-интеллигент, который поставил народ прямо на пьедестал. Ни в одной литературе мира нет такого преклонения перед народной правдой, как в литературе русской. На западе «народ» в непосредственном смысле слова интересует интеллигента с точки зрения фольклора и этнографии, а у нас Тургенев, Некрасов, Толстой и все, что можно объединить словом «народничество», преклонилось пред силою духа народа. Народ в их изображении и величав, и мудр, и высоко этичен, а в противоположность ему «праздные» классы выставлены во всей их дряблости и часто дрянности. «Потрудись на родной ниве», говорил Достоевский тому русскому интеллигенту-скитальцу, который создал героическую психологию «кающегося дворянства» и девушки из тургеневского «Порога».

И, тем не менее, при всей этой несправедливости, велика заслуга Достоевского как человека, установившего схему русского «скитальчества» во всем его историческом объеме. До того было представление о «лишних людях», но оно захватывало только Бельтовых, Чулкатуриных Рудиных. Вместо «лишнего» человека создав понятие о «скитальце», по собственной ли вине или по вине условий русской государственности и общественности (это, в сущности, все равно для обрисовки трагедии скитальчества), оторванного от участия в живой жизни, Достоевский довел генеалогию далеко назад – до Алеко. Современный пушкинист пойдет еще дальше – усмотрит первого скитальца и первого русского интеллигента в кавказском пленнике. А современный критик продолжит линию скитальцев после Рудина и доведет ее до героев Чехова, которые тоже оторваны от жизни и в ней места не находят не потому, конечно, что бездарны и ничтожны, а потому что их гложет та же тоска по идеалу, что отравила безмятежное успокоение на лоне личного счастья людям предыдущих интеллигентских поколений.

Безгранично широкие горизонты открывает нам Достоевский своим утверждением, что в западных литературах нет ни одного гениального писателя, «который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как Пушкин». Он полагает, что «Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из «Фауста», вот «Скупой рыцарь» и баллада «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите «Дон Жуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что написал не испанец».

Не будем останавливаться на дальнейших доказательствах способности Пушкина к перевоплощению, которые приводит Достоевский. Не будем останавливаться и на том, приемлема ли для историка литература категоричность утверждения Достоевского. Историк литературы, и в частности пушкинист, может быть, укажет также, что гениальное прозрение в Пушкине «всечеловека» нужно понимать не только в смысле усвоения Пушкиным именно национальных особенностей.

«Всечеловечество» Пушкина нужно толковать в том смысле, что он удивительно умеет входить вообще во всякую психологию, безразлично, русская она или иноземная. Он удивительно умеет стать на точку зрения того лица, душевную жизнь которого взялся изобразить. Ведь он нашел своего рода оправдание даже для самых грязных, по общему представлению, страстей. Как он нам представил скупость в «Скупом рыцаре»? Это не жалко-смешной Гарпагон, не отвратительный Плюшкин, это своего рода художник. В артистическом упоении бесцельно, то есть истинно-художественно любующийся своими сокровищами. Как нам представил Пушкин в «Моцарте и Сальери» зависть? Он не осудил завистника, он его понял и этим самым как бы оправдал.

Но, повторяю, не только в этом историко-литературном истолковании творчества Пушкина значение того понятия о «всечеловеке», которое создал Достоевский. Поняв национализм как желание возможно шире воплотить в себе лучшие стороны общечеловеческой природы, Достоевский в этот лучезарно-светлый момент своей духовной жизни поставил идею национализма на недостижимую высоту.

Великие слова, когда-либо сказанные по самым разнообразным поводам, имеют то свойство, что они никогда не стареют и всегда могут находить себе применение. И жгучую современность приобретает в наши дни неистового извращения идей здорового национализма то место о московской речи, где Достоевский говорит: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, в с е ч е л о в е к о м (курсив Достоевского), если хотите».

Цитируют теперь часто Достоевского по поводу необходимости взять Константинополь. Нужно ли тревожить тень великого писателя для такого вопроса реальной политики? И без писателя-пророка можно понять важность завоевания проливов. К пророкам и гениям надо прибегать в вопросах тонких и сложных, где они силою своего прозрения могут преподавать уроки,

недоступные простым смертным. И потому оставим Достоевского в покое в рассуждениях о Константинополе и лучше будем с упоением повторять великие слова великого писателя:

«Стать настоящим русским значит стать братом всех людей»!